

Виктор Курочкин

Записки народного судьи Семена Бузыкина



Часть сборника
На войне как на войне (сборник)



Виктор Александрович Курочкин

Записки народного судьи Семена Бузыкина

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162339
Курочкин В. А. На войне как на войне: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-56033-2*

Аннотация

«...Неужели я кандидат в народные судьи?! Даже не верится. Вторую неделю живу в Узоре, разъезжаю по району и знакомлюсь со своими избирателями. После шумного суетливого города мне положительно повезло. Меня пугали, что Узор – глубокая яма. Луж и канав много, но ямы я не видал, наверное, ее нарочно засыпали к моему приезду. Почему я так думаю? Потому что меня здесь любят, уважают и, кажется, радуются, что я у них буду судьей. Все смотрят на меня с улыбкой и величают Семеном Кузьмичом...»

Содержание

Узор	4
Мои откровения, вместо предисловия	7
Как меня выбирали	8
Как я слушал первое дело	10
Узорские юрисдикты	15
Заседатели и заместители	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Виктор Курочкин

Записки народного судьи Семена Бузыкина

Узор

Поселок Узор вытянулся вдоль шоссе от моста через речку Каменку до конторы «Заготсырье». Каменка потому так и называется, что в реке больше камней, чем воды, а летом ее куры вброд переходят. На обрывистом берегу в березовой рощице – больница. За конторой «Заготсырье» – пастбище, поросшее мелким ольшаником, выбитая копытами животных земля напоминает свежее пожарище. А вокруг топкое непроходимое болото.

Поселок пересекает железная дорога. Местный старожил, старик еще бодрый, но глухой, как пень, рассказывал мне так: «Утонул бы Узор в болотах, кабы не могучая воля барчука Парнова. Закупал он во всей округе скот и торговал мясом, а в Узоре свою бойню держал. Страшный богач был. Подпоил начальство, и сделали здесь станцию. Не быть бы тут Узору: его место в городищах, верст за пять отселева. Потому как там место лобное, весной и осенью сухое».

Раньше поселок Узор являлся районным центром. Это было в те времена, когда Дом колхозника битком заселяли уполномоченные и заготовители всевозможного рода. Здесь годами проживали уполноминзаги и по мясу, и по зерну, и по молоку, по овощам, по картофелю, по селу, лесу – всех теперь не перечтешь; но хорошо помню, что одно время там околачивался уполномоченный по ликвидации яловости скота. Но и это не все. Периодически район бурным потоком наполняли представители областных организаций. Это были «кампанейские» ребята. Потому что появлялись они на период посевной и уборочной кампаний... И тогда не хватало коек в «гостинице». Они ютились где попало. У меня в суде, на холодном кожаном диванчике, частенько ночевал третий секретарь обкома партии Мареев – умный, добрый и общительный человек, который не гнушался ни откровенными разговорами, ни скромным гостеприимством.

Говорят, когда-то Узор насчитывал до полутысячи домов. После войны и сотни не осталось бревенчатых домиков с жидкими палисадниками под окнами; стоят еще два десятка кирпичных коробок с темными мрачными глазницами вместо окон.

Здание райисполкома – самое солидное и богатое в поселке: двухэтажное, с балконом и колоннами у входа. В насмешку над местной природой архитектор залепил карнизы тучными кистями винограда. Дом райкома партии тоже каменный и двухэтажный. Но здесь архитектор показал свое полное пренебрежение к излишествам и красотам. Поставил огромный серый ящик с тремя десятками окон, а под карнизами вырубил две круглые слуховые дыры и от них во все стороны пустил стрелы.

Первое, что я увидел из вагона поезда, сразу за переездом – триумфальную арку, увитую рыжей хвоей. В сильный ветер арка качалась и угрожающе скрипела. Полгода обходил ее районный прокурор. Потом позвонил начальнику милиции. Начальник милиции – пожарному инспектору. После этого я видел, как арку два пожарника около столовой раскатали на дрова.

Моя резиденция – приземистое, неудобное, как сарай, здание с вывеской «Народный суд» – оказалась по соседству с конторой «Заготсырье», на самой окраине поселка. Зимой его нередко чуть ли не до крыши заносило снегом. Моя уборщица и сторож Манюня широ-

кой деревянной лопатой весь день разгребала тропинку от крыльца до шоссе; иногда ей помогали истцы с ответчиками, и мне всегда казалось – не без тайного умысла.

Жил я у Василисы Тимофеевны Косых. Весь свой дом с комнатками и комнатухами она сдавала внаем. Сама же ютилась на кухне. Однако квартиранты у нее долго не задерживались. Снимал я у нее узкую, темную, как печная труба, комнатуху с одним окном. До меня в ней жил агроном сельхозотдела. По уверениям хозяйки, «беспробудный пьяница, бабник, сожрал три связки луку и, не заплатив, съехал с фатеры».

Я знал агронома. Застенчивый человек, трезвенник, большой труженик и неудачник, он никак не мог оправдаться перед Косихой. Правда, лук он ел с какой-то непонятной жадностью и пропах им насквозь, как баранья котлета.

Меня хозяйка терпела и соседкам говорила: «Удобный квартирант – платит хорошо, обходительный, не путаник, а ведь совсем холостой, только табакур. Накурит, так накурит, хоть из дома беги». И все удивлялись. Удивлялся и я, но не долго. Зимой на каникулы с бухгалтерских курсов приехала ее дочь Симочка. Взглянул я на нее, и сомнение взяло: да дочь ли она Косихи? Так они не походили друг на друга. Мать напоминала почерневшую, но еще крепкую доску. Симочка была воплощением мягкости и круглости. На ее белом, пухлом, с легким румянцем лице, словно огромные изюмины, торчали изумленные глаза.

Вечером она зашла ко мне как к старому знакомому. Развязность иных женщин, порою граничащая с наглым вызовом, меня теперь не удивляет. Я видывал и не то... Но в поведении Симочки все было так просто, непринужденно, доверчиво и красиво, что мне стало отрадно, словно я ее ждал, и ждал давно, с нетерпением и трепетом. Не помню, чем я тогда был занят – не то читал, не то писал, в общем, как-то разумно бездельничал. Симочка подвинула стул, села, положив на кромку стола упругие, как мячи, груди, и стала смотреть мне в лицо с пристальной серьезностью. Я тоже не мигая смотрел на нее, как зачарованный. Ее розовое, теплое лицо было очень серьезно, Симочка старалась серьезничать. И это ей удавалось, но с большим трудом. Нижняя губка у нее дрожала, а в зрачках этих странных глаз то вспыхивали, то гасли радужные искры. Подобную световую игру глаз я наблюдал в темноте у кошек. Так мы смотрели друг на друга минуту, две, а мне показалось – целую вечность.

– И не страшно вам? – не опуская глаз, спросила Симочка и, помолчав, пояснила, почему это страшно: – Вы засудите человека, его посадят в тюрьму. А потом он отсидит там свой срок, вернется домой и убьет вас.

Я смолчал. Ну что я мог ответить на ее доводы? Она же, приняв мое молчание за полное согласие с ней, стала меня наставительно поучать:

– Вы не очень строго судите людей. Конечно, больших преступников можно и построже. А простых надо жалеть. Потому что преступление они делают не по желанию, а по нужде и глупости...

Я плохо слушал ее наставления. Я думал о том, что вот Симочка поговорит и уйдет. А мне этого не хотелось... Я мучился и гадал: уйдет или не уйдет? А то, что за стенкой ее мать скребет песком пузатый тульский самовар, меня тогда ничуть не смущало.

«Неужели уйдет?» – с тоской думал я. Мои опасения и муки Симочка решила неожиданно просто и разумно. Она пригласила меня в кино... На другой день мы опять ходили в кино, на третий – тоже, и все на одну картину.

Хозяйка усилила ко мне внимание. Появились жертвы. Первым потерял голову петух, за ним Васюта вытряхнула из шубы годовалого барана. Теперь Симочка появлялась в моей комнате в халате, непричесанная и командовала мне: «Подъем!» Породнился бы я, наверное, с Васютой Тимофеевной, но внезапно кончились каникулы. Я заметил, что Симочка забыла о своих курсах. Я же холодно и трезво стал убеждать ее временно все это оставить и закончить учебу. Она слушала меня внимательно с широко раскрытыми удивленными глазами. Только

теперь в них не играли огни. Они были влажными, лиловыми и преданными, как у побитой собаки. Симочка согласилась со мной и, тяжело вздохнув, сказала:

– Ах, Семен, Семен, зачем?

Через день она уехала и увезла с собой и свет, и тепло, и уют. В моей комнатухе стало скучно, пусто и холодно, как осенью в остывшем овине...

Я очень тоскую по Симочке. Ее тихий грустный упрек: «Ах, Семен, Семен, зачем?» – стал тревожным криком моей души. Чтоб забыться, не слышать его, опять пишу свой дневник, который я с радостью забросил при Симочке...

Мои откровения, вместо предисловия

...Я тоже родился... Желали того мои папа с мамой или не желали, или это было просто случайно, но я все-таки появился на свет и выжил. А когда стал судьей, то познал, что не всегда родители желают, чтобы дети рождались.

До семи лет я ходил без штанов и считался чудо-ребенком. Но когда мне надели портки, а через плечо повесили сумку с букварем, то родители увидели, что их чадо не такое уж и чудо. А когда я натянул батькины брюки, сказали: «Поскорей бы его в армию взяли да дурь выбили». Наконец, с помощью ротного старшины я влез в тиковые солдатские штаны и из меня начали выбивать дурь. Долго и старательно, словно пыль из тюфяка, выбивали из меня эту дурь, потом торжественно объявили, что теперь я могу с гордостью носить синие диагоналевые с малиновым кантом офицерские шаровары.

Как ни близоруко было начальство, но и оно в конце концов разобралось, что хотя дури-то во мне несколько поубавилось, однако ума не прибавилось. И вот в синих диагоналевых шароварах меня выпустили на «гражданку». Два года я щеголял в них, мечтая о шевиотовых брюках. Кем я только не был: счетоводом-контролером, агентом, воспитателем, артистом, затейником, торговал гвоздями, ловил камсу, морил клопов и травил крыс, но нигде не проявил таланта и не заработал на новые брюки. За это время мои диагоналевые штаны отшлифовались до совершенного лоска, и ветер в них разгуливал, как в осеннем шалаше... И тогда-то меня осенило: «А не пойти ли мне в юристы?!» И я пошел, и долго шел, и не был легок мой путь, но все-таки я дошел.

На мне добротные суконные брюки, но я надеюсь сменить их на габардиновые.

Как меня выбирали

Неужели я кандидат в народные судьи?! Даже не верится. Вторую неделю живу в Узоре, разъезжаю по району и знакомлюсь со своими избирателями. После шумного суетливого города мне положительно повезло. Меня пугали, что Узор – глубокая яма. Луж и канав много, но ямы я не видал, наверное, ее нарочно засыпали к моему приезду. Почему я так думаю? Потому что меня здесь любят, уважают и, кажется, радуются, что я у них буду судьей. Все смотрят на меня с улыбкой и величают Семеном Кузьмичом.

Вчера какой-то незнакомый седенький старичок до слез меня растрогал. Я шел из столовой, а он – мне навстречу. Снял шапку, низко поклонился, долго стоял без шапки и все смотрел мне вслед. Мне было как-то неудобно и в то же время жутко приятно.

Мне все здесь нравится, все. Домики маленькие, аккуратные, и вечером в них приветливо, заманчиво горят огни. Представляю себе, как там тепло и уютно. Я живу в «гостинице», там тесновато, но клопы не тревожат и белье чистое. Правда, когда прямо с улицы зайдешь в свой двенадцатикоечный номер, тяжеленько смердит, но я ловко научился привыкаться. Надо зажать нос и дышать ртом часто-часто, потом потихоньку по очереди отпустить ноздри.

А какой здесь народ! Я объездил почти все колхозы, и везде меня с почетом встречали, во всем старались угождать и хвалить. И не как-нибудь там за глаза, а при всех, публично. Выходит человек на трибуну или просто к столу и говорит, какой я умный, образованный, преданный сын... Откуда это они все про меня знают? Они же в первый раз меня видят. Удивительно прозорливые и умные в Узоре люди.

Первый секретарь райкома лично сам пригласил меня в свой кабинет и, как с равным, серьезно, по-деловому, полчаса беседовал о трудностях и задачах, стоящих перед нами на данном историческом этапе, и о том, что предстоит сделать, чтобы вытащить район из отстающих в передовые, и какая роль отводится в этом важном деле народному суду. Я заметил, что суд ни от кого не зависит и подчиняется только закону. Первый секретарь сказал: «Правильно. Но нельзя забывать партию. Она – основная руководящая и направляющая сила в стране». Я сказал, что это очень хорошо знаю и помню, потому что по основам марксизма в юридической школе у меня были круглые пятерки. Это очень обрадовало секретаря, и он пообещал назначить меня руководителем кружка по изучению краткой биографии Сталина в каком-нибудь отдаленном колхозе. Я поблагодарил за доверие, а сам про себя подумал: «Черт меня дернул за язык хвастаться пятерками». В общем, первый секретарь – умный и добрый человек. Мы расстались друзьями, дав друг другу слово работать в тесном контакте.

Однако есть и такие, повторяю, таких очень мало, что смотрят на меня прищуренным глазом... Вот, например, председатель райисполкома. Человек он, конечно, положительный, но уж слишком прямолинеен и резок. Когда я пришел к нему и представился, он долго и пытливо разглядывал меня, словно заморскую диковину, и, наглядевшись вдоволь, ехидно спросил:

– А усы зачем? Для солидности? Сбрей. Не усы, а какая-то грязь под носом.

Я молчал, а он, не стесняясь, говорил обидные слова да еще жалел меня при этом:

– Молод ты еще, ох как молод. Жаль мне тебя... Поэтому хочу дать три напутственные заповеди. Они слишком примитивны, но если ты за них будешь держаться, то, может быть, просидишь свои три года до следующих выборов. Первая заповедь – не бери взяток, вторая – не залезай в государственный карман и третья – не лапай девок, с которыми будешь работать.

Это уже было слишком. Разве я не знал моральный кодекс судьи? Но я не в силах был вымолвить ни слова и сидел, согнув голову, униженный и побитый. Сергей Яковлевич подошел ко мне, взлохматил волосы.

– То, что я тебе сказал, пусть останется между нами. Никому ни слова. Понял? Никому... А если тебе потребуется от меня помощь, помогу.

С какой благодарностью я пожал его цепкую и жесткую, как щепка, руку! Так искренне и крепко я еще никому в жизни не пожимал. Я думаю так, что порядочность в человеке ценнее доброты...

Инструктору райкома Ольге Андреевне Чекулаевой, вероятно, лет двадцать пять. Она высока, полновесна, остра на язык и даже красива. Но красота у нее не своя – краденая. К ее сильной ловкой фигуре с сочным голосом ну никак не пристало тонкое, нежное лицо хрупкой белокурой девушки. И чем меньше я стараюсь на нее смотреть, тем больше она насмехается надо мной и язвит. Я все терплю. А что мне остается делать? От нее зависит моя судьба. Я отдан ей в руки на весь период предвыборной кампании. Она развозит меня по району напоказ избирателям и расхваливает. А когда остаемся одни, с глазу на глаз, говорит мне, что я кот в мешке, которого навязали ей возить и расхваливать.

Сегодня была моя последняя встреча, с избирателями льнозавода. Как и все предыдущие, она прошла в теплой дружеской обстановке, если не считать одного маленького недоумения.

Собрание шло серьезно, по-деловому, все выступающие говорили про меня правильно и хорошо, а одна старушка даже перестаралась. Ее никто не просил выступать, она сама вылезла к трибуне, заявила жалобным голосом:

– Давайте выберем его в судьи. Парнишка он молоденький. Жить ему тоже хочется, – и заплакала. А все, кто был в зале, покатались со смеху. Одна только не смеялась Ольга Андреевна. Положив мне на колено руку, она сказала, чтобы я не волновался, потому как старуха выжила из ума. А я и не волновался, мне стало очень грустно.

Вот я сижу, пишу, вижу эту плачущую старушку и думаю: «Эх, Семен, Семен, зачем?..»

Я избран почти единогласно. Против меня был всего один голос. И скажу вам по секрету: этот голос мой!

Как я слушал первое дело

Итак, я – народный судья. С нарочитой ленивой солидностью и взволнованный до холодного пота, сажусь за длинный с зеленым сукном стол слушать первое дело. По бокам усаживаются мои заседатели. Солидно кашляю и глухим утробным голосом объявляю, что слушается дело по иску гражданина Сухореброва к гражданину Семенову о возврате собаки, и с трудом отрываю глаза от серой папки. Прямо передо мной сидит плотный, черный, косматый, как цыган, ответчик Семенов и, сжав коленями, держит черненькую, с белыми лапками лайку. Человек и собака не отрываясь смотрят на меня. Только глаза у человека какие-то ошалелые, а у собаки – веселые.

– Истец Сухоребров здесь? – спрашиваю я.

На последней скамье подпрыгивает маленький, в новом дубленом полушубке мужичок и, как рыба, глотнув воздух, торопливо шпарит:

– Моя собака, гражданин судья. Ей-богу, моя. Кого хошь в деревне спроси, моя.

– Погодите, – останавливаю его. – Вы поддерживаете иск?

Сухоребров ежится и удивленно раскрывает рот.

– Поддерживаете вы иск? – повторяю вопрос, обязательный по процессуальному кодексу.

Сухоребров молчит, и вид у него жалостный, испуганный. Бедняга не понимает, что такое поддерживать иск. А когда я ему объясняю, что это есть то же самое, что требовать возврата собаки, он обрадованно кивает головой.

– Моя собака. Ей-богу, моя. Кого хошь спроси в деревне.

– Семенов, признаете иск? – обращаюсь к ответчику.

Семенов неуклюже встает и, глядя из-под нависших бровей, сипит:

– Брешет он, гражданин судья. Собака моя. У цыган купил за двести целковых.

Вызываю к столу свидетелей, беру с них подписку об ответственности за ложные показания. Для пущей объективности удаляю их из зала в холодные сени и начинаю следствие.

С первого же дня я убеждаюсь, что в суде даже разумный человек внезапно глупеет, теряет способность понимать и думать.

Допрашиваю Сухореброва. Он удивительный болтун и бестолочь... Слова сыплет, как горох из мешка... Долго роюсь в этой бессмысленной словесной каше и, наконец, выясняю, что три года назад у Сухореброва была собачонка, по его выражению, «тютелька в тютельку, как эта лайка», а потом пропала. Сухоребров о ней, конечно, никогда бы и не вспомнил, собака ему была совершенно не нужна. Когда соседский мальчонка Васятка Морозов сказал ему, что видел эту собаку в деревне Рыдалиха у охотника Нила Семенова, Сухоребров, махнув рукой, сказал: «А на кой лях она мне нужна. Только хлеб даром жрет». Потом до Сухореброва дошел слух, что эта собачонка оказалась счастливой добытчицей. Только за один год Нил добыл с ней несметное количество белок, куниц и перебил всех глухарей в округе. Эта весть как ножом полоснула сердце Сухореброва, и он решил во что бы то ни стало отобрать у Нила Семенова свою собаку.

Из ответчика Семенова выжать ничего невозможно, на все вопросы он отвечает одним словом: «Брешут». У его ног, завернув кренделем хвост и наострив уши, лежит «удачливая добытчица» и, зевая, повизгивает. Спрашиваю охотника, правда ли, что собака – необыкновенная добытчица, он, ухмыляясь, мотает головой:

– Да брешут, гражданин судья.

Это меня настораживает. В ответе Семенова я улавливаю недобросовестность. Мелькает мысль, что, вероятно, цыгане стащили собаку у Сухореброва и продали Семенову. Я

ухватываюсь за эту версию и пытаюсь выяснить, где и когда была куплена Семеновым лайка. Но это мне оказывается не под силу. Ответчик твердит одно и то же: «Брешуть». А Сухоребров внезапно все забывает, даже кличку своей собаки.

Допрос же свидетелей окончательно все запутал. Их показания были так противоречивы и нелепы, что в этот день я сделал еще одно открытие: нигде и никто так не врёт, как свидетель в суде.

А несовершеннолетний свидетель Васятка Морозов насмешил меня, растрогал, вогнал в пот. Мне представлялся Васятка озорным веснушчатым курносый мальчонкой. И я был очень удивлен, когда около стола появился белобрысый верзила в огромной лохматой шапке из заячьей шкурки.

– А шапку-то перед судом надо снимать, – заметил я.

Васька стащил с головы шапку, подержал в одной руке, потом в другой, спрятал за спину.

– Сколько же вам лет?

Васька мгновенно нахлобучил шапку на голову, но, опомнившись, опять поспешно снял ее, зажал в руках и растерянно заморгал. Я повторил вопрос. Васька уронил свою шапку, торопливо схватил и спрятал за спину. Я понял, что все внимание у свидетеля сосредоточено на шапке, она мешает ему не только думать, но даже мало-мальски соображать. Я приказал Ваське положить шапку на скамейку. Но это не привело к лучшему. Без шапки он совсем растерялся и, растопырив руки, как затравленный зверек, смотрел на меня ошалелыми от страха глазами.

– Василий Морозов, сколько вам лет? – в третий раз спросил я.

Васька глотнул воздух и выпалил:

– Не знаю... – и, испугавшись своего голоса, густо покраснел и подпернул ладонью нос.

– Как же ты не знаешь, сколько тебе лет?

Теперь у Васьки покраснели шея и уши, и он, набычившись, буркнул:

– Сколько нам лет, не знаю. А мне шестнадцатый.

Я понял, что говорить с Васькой на «вы» – только зря терять время.

– Ты знаешь эту собаку?

Свидетель радостно кивнул головой.

– Чья же она?

– Дяди-Петина.

– Какого?

– Да вот этого, – и Васька ткнул пальцем в сторону Сухореброва.

– Почему ты так утверждаешь?

– Не знаю.

– Фу-ты, черт возьми, – прошептал я и почувствовал, что меня начинает трясти, но сдержал себя и спросил как можно мягче: – Вы раньше видали ее у Сухореброва?

– Видали.

– Кто «видали»?

– Да я.

– Так бы и говорил, что видал, – процедил я сквозь зубы, злясь не столько на свидетеля, сколько на себя, на свои вопросы, на свое неумение вести допрос. – Когда ты ее видел?

– Давно, – ответил Васька и от себя добавил: – Я тогда еще с ней играл.

Это проливало кое-какой свет, и я обеими руками ухватился за наивное Васькино признание.

– Как же ты с ней играл?

Васька широко и глупо заулыбался.

– Положу на спину и давай брюхо щекотать, а она визжит и кусается.

– А как звали собаку?

– Альма.

С таким же вопросом я обратился к ответчику.

– Брешет он, гражданин судья. Пальмой кличут мою собаку, – ответил Семенов.

Я опять принялся пытаться Ваську:

– Как же пропала у Сухореброва собака?

– Волки сожрали.

– Откуда ты это знаешь?

– Да дядя Петя сказывал.

То, что собаку Сухореброва волки сожрали, подтвердили все свидетели.

– А может быть, ее цыгане увели, а потом продали Семенову? – осторожно спросил я Ваську.

Он охотно подтвердил мою версию, сказав, что цыгане – ужасные воры и хапают все, что попадет под руку.

Теперь оставалось выяснить, чья же, в конце концов, собака у ответчика.

– Вася, – спросил я, указывая на лайку, которая, сощутив глаза и высунув язык, лежала под лавкой, – это та собака или не та?

Васька пристально посмотрел на лайку и пожал плечами.

– Кажись, та.

– Ты говори прямо, та или не та? – строго приказал я.

Васька опять посмотрел на собаку и опустил голову.

– Не знаю.

– Почему? Ведь ты же играл с ней?

Васька молчал.

– Отвечай, какие были особые приметы у дяди-Петиной собаки?

Васька молчал, как глухонемой.

– Отвечай, что было у собаки, с которой играл, – сквозь зубы процедил я.

– Хвост, – прошептал Васька.

– Хвост есть у всех собак. Ты мне назови особые приметы, которые бы отличали один индивидуум от другого. Ну что еще было у той собаки?

Васька каким-то чужим голосом выдавил:

– Уши.

Свидетель меня не понимал. Мы разговаривали с ним на разных языках... Я почувствовал свое полное бессилие и не знал, что делать. К счастью, выручили свидетели. Они просто и легко объяснили Ваське, чего я от него добиваюсь. Он бойко, без запинки пересчитал по пальцам все приметы украденной собаки. Они совпали, как уверял Сухоребров, «тютелька в тютельку» с приметами лайки, кроме одной. Васька уверял, что на груди у той собаки Альмы была белая полоска. Семенов поднял собаку лайку за передние лапы и показал суду собачий живот с белым пятном.

– Замарал полоску, ей-богу, замарал, гражданин судья, – закричал Сухоребров, – прикажите потереть собаке грудь.

Семенов поплевал на ладонь и принялся ожесточенно тереть лайке живот. Она отчаянно царапалась, визжала и лаяла.

Сухоребров дело проиграл, но не сдавался и потребовал проделать фокус. Он отошел к двери и стал подзывать к себе собачонку. И она подошла, потерлась о его валенки и покорно уселась у ног.

– Пальма, стерва, подь сюда, – дико закричал Семенов, и собака стремглав бросилась к нему, подпрыгнув, лизнула его волосатое лицо и радостно залаяла.

«Вот дрянью», – зло подумал я и спросил Сухореброва:

– Вы охотник?

– Никак нет, гражданин судья. Мы больше рыбешкой балуемся.

– Так зачем же тебе охотничья собака? Она же тебе совершенно не нужна.

– Знамо дело, не нужна, – согласился Сухоребров.

– Зачем же тогда эту судебную канитель завел?

– Как зачем? – изумился Сухоребров. – Собака моя, ей-богу, моя. Спросите в деревне, и все скажут, моя.

Суд отказал Сухореброву, ссылаясь на то, что нет доказательств, что лайка раньше принадлежала ему. Когда я разъяснял решение суда, Сухоребров согласно кивал головой и поддакивал: «Так, так, понятно, гражданин судья». А потом спросил, как быть теперь с его собакой. Сейчас ее отдаст ему Семенов или он заберет у него с милиционером? Я сказал ему резко и категорически, что собака Семенова, а он на нее никаких прав не имеет. Сухоребров швырнул на пол шапку и пригрозил, что пойдет выше, до Москвы, а животину свою все равно отсудит, и стал настойчиво просить, пока он будет ходить по судам, отобрать у Семенова собаку и наложить на нее арест, чтоб тот ее не продал или нарочно бы не испортил. Это поставило меня в тупик. Требование Сухореброва было законно, но я не знал, как его удовлетворить. Позвонил начальнику милиции и просил помочь мне наложить на лайку арест. Начальник милиции заявил, что у него для арестованных собак нет камер и не положено, и посоветовал оставить временно собаку у хозяина под сохранный расписку до вступления решения суда в законную силу. Но Сухоребров и слушать не хотел о расписке. Этот коротконогий, с лицом скопца мужичонка, сбросив маску простачка, проявил такую энергию, упорство и знание законов, что я растерялся. Передо мной стоял хитрющий, махровый сутяга, который способен на любую пакость, и я трусливо пошел на уступки. Я предложил истцу с ответчиком найти человека, которому бы они на время доверили на сохранность собаку.

Я ушел к себе в кабинет, закрылся на ключ. Меня бил озноб, болела голова и тошнило. Подмывало желание плюнуть на все это и бежать отсюда не оглядываясь. В дверь постучали. Я открыл и опять увидел их вместе с собакой. Они ввалились в мой кабинет и заявили, что пока они будут тягаться, решили на это время оставить собаку у меня как у самого надежного в районе человека. Я не знал, что мне делать: плакать или смеяться. Впрочем, мне было все равно, и я, устало махнув рукой, согласился. И они ушли, оставив мне лайку.

– Фу, наконец-то от них отвязался, – облегченно вздохнул я и прилег на диван. Но меня поджидал новый удар. В кабинет вошла секретарь и спросила, как теперь быть с протоколом. Оказывается, она не записала ни одного слова из того, что говорилось в течение трех часов.

– Вы мне не сказали, что надо записывать. А бывший судья всегда мне говорил и допрашивал медленно, – с наивным упреком пояснила она.

«Протокол – зеркало судебного заседания! Значит, все надо начинать снова!» Я схватился за голову и дико захохотал. Секретарь посмотрела на меня, как на сумасшедшего, и выскочила из кабинета.

Всю ночь я сочинял протокол судебного заседания, мучительно припоминая, что говорилось истцом, ответчиком, свидетелями. На диване, свернувшись, лежала Пальма. Она вела себя спокойно: зевала и изредка потихоньку повизгивала, а потом начала скулить. Я отдал Пальме свой ужин: ломоть хлеба с маслом. Она понюхала, отошла к двери и залаяла. Я попытался ее успокоить, но она, подлая, оскалилась... Я распахнул дверь и выгнал Пальму в сени и сел дописывать протокол. Но так мне и не удалось его дописать. Через пятнадцать минут Пальма начала драть когтями дверь и сотрясать дом оглушительным лаем. Лай я еще, скрипя зубами, терпел, но когда она протяжно завывала, мне стало жутко.

Около печки на гвозде висела веревка, на которой уборщица носила дрова. Я схватил веревку и, дрожа от страха, открыл дверь в сени. Пальма с радостным визгом бросилась

ко мне и уткнулась носом в колени. Я торопливо привязал к ее ошейнику веревку, выволок на улицу и привязал к забору. Закрыв дверь на железный засов, я лег на диван, с головой накрылся шубой и заткнул пальцами уши. «Довольно, – сказал я себе решительно, – утром отправлю собаку с милиционером к ее хозяину».

Однако моему благоразумному намерению не суждено было свершиться... Меня разбудил визгливый голос уборщицы Манюни. Она выскребала железной лопатой смерзшийся собачий помет и отчаянно ругалась. Я вспомнил о собаке, быстро оделся и выбежал на улицу... и нашел у забора одну лишь веревку с оборванным концом. Все уверяют, что это дело волков. Ничего нет удивительного, волки здесь до того обнаглели, что по ночам при-вольно разгуливают по поселку. Я же над этим не задумываюсь. Не все ли равно, кто увел собаку: волки ли, человек ли, а может быть, она сама убежала, – отвечать-то теперь за все придется мне.

Узорские юрисдикты

Суд тесно связан с прокурором, милицией и адвокатом. Есть еще МГБ. Эта организация занимает в районе особое положение. Она никому не подчиняется, ни перед кем не отчитывается, и никто толком не знает, чем ее люди занимаются. Она полна мрачной тайны. Официально – ведет в районе борьбу с врагами народа и шпионами. Но вот я уже проработал полгода и не встретил ни одного врага, да и вряд ли встречу.

Здесь народ очень добрый и преданный, он готов отдать Родине все, и отдает все, вплоть до последнего зерна с луковицей, а если потребуется, и жизнь. А что касается шпионов, то им здесь делать совершенно нечего, а если бы какой-нибудь захудалый шпиониска и затесался в наш район, то он чувствовал бы себя здесь как дома. Эмгэбэшники – ребята отчаянные и самоуверенные. Метод их работы до примитивности прост: выстукать и выпытать.

Как-то зимой, когда я ужинал в пустой полутемной чайной, ко мне подошел лейтенант в фуражке с синим околышем и пожелал познакомиться с судьей, а по этому случаю и выпить. Я заказал водки, и мы выпили... Разговор не клеился. Лейтенант предложил повторить. Мы еще выпили, и – разумеется – за мой счет. Лейтенант, не стеснясь, распоряжался моим карманом, как собственным, и чем больше выпивал, тем становился развязнее и наглее.

– Слушай, судья, – внезапно переходя с «вы» на «ты», откинувшись на спинку стула, небрежно процедил он сквозь зубы, – о чем вы это шепчетесь по ночам с Шиловым?

Вопрос был до нелепости странным, и я не знал, что и ответить. Он же принял мое смущение за испуг и требовательно постучал по столу вилкой.

– Так зачем же вы ходите к председателю исполкома? Что у вас за такие важные дела?

Я действительно частенько заходил к Сергею Яковлевичу сыграть партию-другую в шахматы. Я хотел было грубо обрезать его, но в голове мелькнула озорная мыслишка: покуражиться над лейтенантом. Я, пожав плечами, небрежно махнул рукой.

– Да так, есть у нас с ним кое-какие делишки.

Лейтенант насторожился, оглянулся назад и, перегнувшись через стол, доверительно зашептал:

– Пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Поверьте мне, товарищ Бузыкин, не о нем, а о вас в первую очередь заботимся. Честно, хотим вас оградить от дурного влияния. Скажите, какие вы с ним разговоры разговариваете?

Я по-детски надул губы и, глядя исподлобья, буркнул:

– Скажи вам, а потом меня – к стенке и шлепнете, как муху.

– Честное слово офицера, коммуниста, волоса на твоей голове не тронем, – горячо заверил меня лейтенант.

Я мучительно придумывал, что же ему сказать такое ядреное, глупое, чтобы лейтенанта сшибло с ног. Я поманил лейтенанта пальцем и, когда он подставил к моим губам ухо, рявкнул густым басом на всю столовую:

– Готовим государственный переворот!

Если и не лопнули барабанные перепонки у лейтенанта, то лишь потому, что они, наверное, крепче его офицерского лба. Лейтенант с минуту, выпучив глаза, обалдело смотрел на меня, как на сумасшедшего, а потом загоготал.

– Комик... артист... ну и ну, ай да судья, – бормотал он, задыхаясь от смеха. Потом неожиданно резко оборвал смех и погрозил пальцем: – Ты смотри, не очень-то распускай язык, а то попадешь на такого, что и за правду эту ерунду примет.

– Да разве я не вижу, с кем имею дело, – смиренно опуская глаза, ответил я.

– Хитрец, хитрец, – опять захохотал лейтенант и, насмеявшись вдоволь, серьезно заметил: – А с этим Шиловым ты поосторожней. У него отец в эсерах ходил.

На это я ему сказал, что Володарский с Урицким тоже ходили в эсерах. На что лейтенант не менее резонно отвечал, что нельзя сравнивать ананас с поросычьим хвостом, хлопнул меня по спине лапищей, назвал славным парнем с чистой биографией и предложил выпить. У меня больше не было денег.

– Вот чудак! – воскликнул лейтенант. – Займи у меня!

Мне показалось, или я ослышался, или лейтенант просто весело шутит? Но глаза у него были серьезные, и он без тени смущения повторил:

– Займи у меня. А с получки отдашь.

Меня передернуло, хмель и злоба бросились в голову, все закружилось, и из глаз показались желтые кольца. Когда я выходил из чайной, меня бросало из стороны в сторону, а лейтенант смеялся и говорил официантке:

– Во как набрался. А еще народный судья, выборный человек. Нехорошо. Очень нехорошо.

Когда я попытался рассказать об этом случае начальнику отдела МГБ майору Угрюмову, он грубо оборвал меня и с угрозой предупредил, чтобы я бросил разводить клевету на их органы.

Отчаянные ребята эмгэбэшники. Им ничего не стоит безнаказанно оскорбить судью, унижить прокурора и даже прикрикнуть на секретаря райкома.

Начальник милиции капитан Фалалеев Фалалей Фалалеевич – личность незаурядная и любопытная. Он высок, тяжеловат, ширококул; у него татарское лицо и добрейшая русская душа. Фалалеев, пожалуй, самый некультурный и малограмотный начальник в нашем районе. И это его очень угнетает. На образованных людей он смотрит, как на идолов, страшно им завидует и становится совершенно беспомощным в их обществе. Мне довелось вместе с ним и прокурором праздновать Новый год в компании врачей. Он боялся, как бы не оконфузиться в интеллектуальном обществе, и всю ночь до утра, не вылезая, просидел за столом, красный, потный, совершенно трезвый и голодный. К простому люду Фалалеев относится с добродушной грубостью и зверски ненавидит воров с хулиганами. Свою карьеру Фалалеев начал с рядового милиционера. Разумеется, институтов, правовых школ он не кончал, однако в юридических вопросах Фалалей Фалалеевич разбирался не хуже нас, ученых юристов.

...Как-то мы с прокурором завели длинный и нудный разговор о мародерстве; заспорили, что является объектом преступления при ограблении трупов, находящихся на нейтральной полосе. Я доказывал, что личное имущество убитого солдата. Прокурор утверждал, что государственное имущество, поскольку после смерти солдата все остается государству. Фалалеев, по обыкновению, слушал нас внимательно, потом вмешался в спор и убедительно доказал, что в данном случае объектом преступления является воинская дисциплина.

– Потому что нейтральная полоса – это ничейная земля, – говорил он медленно, с трудом подбирая слова и страшно потев от напряжения, – значит, и сапоги тоже ничейные. А солдат, который пытается стяжать эти ничейные сапоги, нарушает дисциплину, свой воинский долг.

Как работник капитан цены не имеет. В районе не было случая, чтобы преступление прошло не раскрытым. И в этом в первую очередь заслуга Фалалеева.

На второй день праздника Рождества на окраине глухой деревушки был найден убитый моряк, прибывший в соседнее село на побывку. Рядом с ним валялись три березовых кола. И никаких других доказательств. По подозрению взяли из деревни трех парней, которые гуляли вместе с моряком. Но они начисто отрицали свою причастность к убийству. Следствие вела прокуратура. Были опрошены жители не только этой деревни, но и всех окрестных сел, и ничего, кроме акта судебно-медицинской экспертизы, подтверждающей,

что убийство было совершено при помощи найденных березовых кольев, приобщить к делу не смогла.

Прокурору грозил жесточайший нагоняй. Совершенно подавленный, он пришел к Фалалееву и пригласил меня посоветоваться, что делать. Мы поговорили и решили, что дело на языке юристов «дохлое» и ничего не остается делать, как сдать его в архив. А задержанных ребят выпустить. Прокурор тяжело вздохнул, согласился и с ненавистью сунул дело в серой папке в свой великолепный желтой кожи портфель. Мы уже с ним вышли на улицу, когда нас окликнул дежурный милиционер и попросил вернуться к начальству. Мы вернулись. Фалалеев стоял посреди своего кабинета, таинственно улыбался, скреб затылок.

– А что ты мне пообещаешь, прокурор, если я это дело на твоих глазах раскрою? Сейчас мы провернем один фокус: авось клюнет, – капитан загадочно улыбнулся и принялся раскалывать дело.

Он накатал валиком на пальцы черную краску, взял три чистых листа бумаги и на каждом сделал по жирному оттиску пальцев. Потом вызвал дежурного милиционера, приказал ему принести в кабинет «арестованные» кольца и доставить одного из парней.

Милиционер ввел жилистого, с острым носом, с виду лет семнадцати подростка. Несмотря на тяжесть преступления, в котором его подозревали, держал он себя дерзко, самоуверенно и сразу же заявил прокурору претензию:

– Прокурор, на каком основании ты меня закатал в этот клоповник?

– За убийство, – обрезал его капитан.

– Чего это? А где доказательства? Меня не напугаешь. Законы тоже знаем, выпускай немедленно, а то протестовать начну, – сказал подросток, лихо плюнув на пол.

Фалалеев, держа за спиной лист бумаги с оттисками собственных пальцев, вплотную подошел к подростку.

– Ты хочешь иметь доказательства? Так вот они!

Раньше я не верил, а сейчас увидел, как сами по себе у человека шевелятся на голове волосы. Он смотрел на бумагу и прямо на наших глазах серел и старился.

– Что, узнаешь свои пальчики? Свеженькие, с этих колышков сняты, – ласково и нежно пояснил капитан.

– Сволочи вы все, – прошептал преступник и горько заплакал.

Фалалеев дал ему выплакаться, а потом спокойно приказал:

– А теперь колись до конца... Поддай инструмент, которым ты орудовал.

И он подал увесистую, с толстым концом палку.

– А остальные чьи, Садиков? – живо спросил прокурор.

– Ничьи, я их нарочно подбросил, – угрюмо сказал Садиков и сел без разрешения на стул.

– Значит, один убил?

Садиков вместо ответа опустил голову.

– А за что же ты его убил? – поинтересовался я.

Садиков поднял на меня прозрачные, как стекло, глаза.

– А так... ни за что... за потаскуху Наську Косоглазую. Хотел на ней жениться, а она спуталась с этим... – он длинно и матерно обложил убитого матроса.

Когда преступника увели, капитан хитро подмигнул мне.

– Видал, судья, как работает туполобая милиция? А ведь сознайся, считал ты меня туполобым? Ладно, не оправдывайся. Все нас считают такими, впрочем, я и не отрицаю и не обижаюсь, – грустно заметил Фалалеев и устало махнул рукой.

На редкость интересный человек капитан Фалалеев. Милиция давно ему надоела, но держится он за нее обеими руками. У Фалалеева куча ребятишек, двое стариков и жена – мать-героиня. От родов, бесчисленных абортот и постоянной беспричинной ревности она

высохла и пожелтела, как соломина. В минуты лирического настроения Фалалеев мечтает о должности начальника тюрьмы или его помощника, впрочем, он согласен, на худой конец, стать простым опером.

— Засяду я за каменные стены, — говорит он в таких случаях, улыбаясь, — закроюсь на все сто запоров и собак спущу. Вот тогда пусть она попробует меня взять. — Под словом «она» он имеет в виду свою половину, которую капитан не терпит и оттого почти круглые сутки сидит в милиции: здесь он работает, по вечерам играет с дежурным в шашки, даже иногда ночует.

При случае Фалалей Фалалеевич заходит ко мне, как он выражается, покалякать с «энтеллектуальным» человеком. И я охотно калякаю с ним и о политике, и о литературе, и даже о музыке. Особенно Фалалеев любит разговоры на юридические темы... Он, не моргнув глазом и не раскрыв рта, часами способен слушать про Анатолия Федоровича Кони и до слез смеяться над анекдотичными выкрутасами адвоката Плевако.

— Ах, тот Плевакин, ну и стерва порядочная, — бормочет он и, вздохнув, грустно добавляет: — Завидую вам, энтеллектуальным. Все-то вы знаете.

Когда я предложил почитать книгу о знаменитых юристах, то он наотрез отказался, заявив:

— Чтобы читать книги, надо иметь лошадиную память, а у меня после контузии в голове ветер гудёт.

Наши душевные беседы, как правило, заканчивались жалобами Фалалеева на свою собачью работу и мечтами о привольной и спокойной жизни в тюрьме.

В поселке ходят упорные слухи, что капитана Фалалеева собираются куда-то перевести. Очень жаль, если это случится. Фалалеев — опытный работник, и перевод его — слишком дорогая потеря для района.

Есть слова, которые так и просятся, чтобы их произносили громко, например: «прокурор», «адвокат». Но когда я познакомился со своим адвокатом, то с тех пор это слово выговариваю чуть ли не шепотом. Есть люди, о которых много не скажешь. А о моем адвокате вообще нечего сказать. Невероятный тип юриста, да и только. Он наделен природой такими чертами характера, которые совершенно не нужны адвокату. Единственно, что еще в какой-то степени может соответствовать его должности, так его фамилия, красивая и звонкая — Илларион Парамонович Санжеровский. Во всем же остальном он безлик, бесцветен, как полевая мышь.

В канцелярии суда около печки его рабочее место: стол, стул и чернильница. Каждый день ровно в десять он является на службу с огромным, весом в полпуда, портфелем. Положив на стол портфель, адвокат принимается разматывать свой желтый шарф. Этот шарф знаменит своими невероятными размерами и выносливостью. Зимой и летом он бесменно висит на шее адвоката, как хомут. В районе когда-то адвоката так и звали Хомутом. Потом эта кличка с течением времени видоизменялась и совершенствовалась, пока не обрела совершенно новое нелепое звучание: Халтун. Так его все и зовут: в глаза и за глаза. Смотав с шеи шарф, адвокат аккуратно складывает его и, как вожжи, вешает на гвоздь. Потом, зябко съевшись, долго трет руки, все равно — будь в канцелярии собачий холод или же невыносимая жара. После этого Халтун садится за стол и начинает готовиться к приему клиентуры. Разгружает свой портфель, в котором уместилась юридическая литература за все годы советской власти. (Кстати, пользоваться этим богатством Халтун до сих пор не научился. Как-то мне до зарезу потребовалось толкование пленума Верховного суда по одному аналогичному делу. Он весь день потратил на его поиски и не нашел. А постановление это находилось в обычном комментированном кодексе.) Разложив по стопкам законы, указы, постановления, Халтун кладет перед собой чистый лист бумаги, берет в руки карандаш и замирает. Сидит он час, другой, третий — никого. На измятом старостью, с маленькими скользкими глазами

лице адвоката ни смущения, ни волнения: оно спокойно и равнодушно. Он давно знает, что, сиди он хоть сто часов подряд не вылезая, к нему все равно никто не придет. Халтун – на редкость безавторитетный адвокат.

Первое время я старался помогать ему. Всех, кто обращался ко мне по всем юридическим вопросам, и особенно защиты, я отсылал к адвокату Санжеровскому. И меня всегда спрашивали: «А кто это такой?» – и, узнав, отчаянно махали руками: «Нет, только не Халтуна».

В процессах он выступает лишь в тех случаях, когда сам суд назначает защиту, которая обычно в таких случаях нужна подсудимому не больше, чем мертвому свинцовые примочки. Говорит он солидно, как и подобает человеку его положения, но слова подбирает тяжелые, вычурные и с таким трудом, словно вытаскивает их из потайного кармана, и речь свою он всегда заканчивает так: «Прошу суд снизить меру наказания моему подзащитному», – независимо от того, виновен ли подсудимый или не виновен. Все остальное время он сидит у печки за своим столом. И когда меня отсюда выгонят, он все равно будет сидеть; придет другой, и того пересидит, как пересидел всех судей до меня.

Поэтом надо родиться. Магунов Виктор Андреевич родился прокурором. Он старше меня всего лишь на три года, а кажется – на все десять. Высокий, полный, рыхлый, с холодным скучным лицом и очками вместо глаз, он невольно вызывает страх и уважение. Магунов строг, но незол, по-своему добр, но доброта эта скорее пугает, чем радует; справедлив, но справедлив, как сам закон. Он ни на кого не жмет, но все чувствуют тяжесть его руки.

Прокурор, как все смертные, наделен и слабостями, и пороками, но скрывает их так умело и ловко, что простым глазом не заметишь. А самое главное – Магунов умен, чертовски упрям и настойчив. Я уверен, он добьется высокого положения, по крайней мере, должность областного прокурора ему обеспечена.

Одно время мы дружили, правда недолго, а потом разошлись, чтоб навеки стать непримиримыми врагами.

Кажется, это было на третий день после выборов. Я тогда очень много и упорно работал: дни и ночи просиживал за столом, подготавливая дела к слушанию. Изучая к предстоящему процессу одно очень спорное арестантское дело, я обнаружил, что протокол об окончании следствия не был подписан обвиняемым. Нарушение это было чисто формальным, но оно давало мне повод прямо без судебного разбирательства направить дело прокурору на следствие.

Я решил на первых порах не портить отношений с прокурором, которого я еще не знал. Взяв дело под мышку, я отправился в прокуратуру исправить ошибку, да и заодно познакомиться с Магуновым. Секретарь доложила о моем приходе, и тотчас я был принят. Когда я вошел в кабинет, Магунов стоя разговаривал по телефону. Видимо, разговор для него был очень важный и обнадеживающий. Он растягивал в улыбке рот, повторял одни и те же слова: «Благодарю, слушаюсь, спасибо». Не отрывая от уха трубки, он широким жестом разрешил мне сесть в кресло около стола и вяло пожал мне руку.

Закончив приятный разговор, Магунов заложил руки за спину, прошелся по кабинету, сказал: «Так-с, неплохо, и даже очень неплохо», – сел за стол, снял очки, протер их безукоризненно чистым платком и, рассматривая свои холеные руки с пухлыми, как сосиски, пальцами, спросил:

– Ну так как дела, Фемида?

Я сказал, что так себе, поначалу трудновато приходится. Прокурор громко чихнул, промокнул клетчатым платком рот и заметил, что это естественно, так и должно быть, но дело не в этом. Откинувшись на спинку стула, он снял очки, поиграл ими, посадил на место и, пристально разглядывая меня, мягко спросил:

– Вы по призванию или по наитию стали юристом?

Я резко ответил, что в этом я ни перед кем не намерен исповедоваться. Он высоко поднял брови, посмотрел на меня поверх очков и улыбнулся.

– Жаль, очень жаль, молодой человек.

– Это почему же вам жаль? – грубо спросил я.

Он же моей грубости противопоставлял утонченную оскорбительную вежливость.

– Дорогой мой, юристом, как и поэтом, надо родиться. А я в вас этого не заметил. Простите, но не заметил, – Магунов широко развел руки и поклонился.

Мне стало смешно: прокурор дал маху, он переиграл, как плохой артист. Это как рукой сняло всю злобу и обиду, я принял беззаботный веселый вид и сказал, что разные бывают поэты, а юристы – тем более, потом положил на стол дело.

– Виктор Андреевич, здесь вкралась небольшая ошибочка, – сказал я как бы между прочим.

Магунов надменно выпрямился.

– Что? Какая ошибочка?

– Посмотрите сто первый лист, – небрежно кивнул я.

Прокурор, морщась, полистал дело и вдруг ахнул.

– Бог мой! Да это же прямой повод к отмене! – потом бросил на меня встревоженный взгляд. – Семен Кузьмич, а вы по нему подготовительное заседание проводили?

Я сказал, что только из-за этого и не проводил. Магунов облегченно вздохнул и заверил меня, что этот казус он сегодня же исправит. Он вызвал следователя, прямо на моих глазах сделал ему жесточайший нагоняй и приказал немедленно отправиться в город, в тюрьму к арестанту подписать протокол. После этого мы разговорились, но уже по-другому, по душам, и прокурор пригласил меня заглядывать к нему вечерами на огонек.

Надо отдать должное, Виктор Андреевич – прекрасный собеседник. Он хорошо образован, начитан, очень равнодушен к искусству, особенно к театру, когда-то был актером-любителем и по секрету признался мне, что и сейчас с удовольствием поломался бы на сцене. Я ему верю: по крайней мере, рассказы Чехова он читает превосходно. Но это еще не все достоинства прокурора. Он великолепный преферансист. И играет с умом: чтобы не потерять партнеров, иногда и проигрывает.

Однако ни общность наших взглядов на искусство, ни преферанс не смогли скрепить нашу дружбу. Вскоре мы разошлись. Из-за чего? Из-за палочки.

Палочка – условный знак, а фактически – показатель работы. Судье она ставится только за отмененный приговор. Прокурору – и за необоснованный протест, и за оправдательный приговор, а также и за отмененный, если он его не опротестовал.

Подсудимый думает, что он – главная фигура в процессе. Как он близорук! Впрочем, это очень хорошо. Если бы подсудимый подозревал, что не он главный, а невидимая неосознаваемая палочка, и что из-за нее между прокурором и адвокатом происходят ожесточенные словесные бои, и что суду совершенно безразличен он как человек, лишь бы так решить дело, чтобы не получить палочки, то ему стало бы жутко.

Прокурор всегда требует подсудимому осуждения, даже если он не виновен, и очень редко, в исключительных случаях, отказывается от обвинения. Для этого надо быть великодушным. А в наше время великодушие – вещь старомодная и смешная. А кому хочется прослыть смешным? И уж конечно, не прокурору.

Начальство отличает Магунова и ставит в пример другим как работника, проводящего строгий прокурорский надзор. Что верно, то верно. Ни одно правонарушение не проходит безнаказанным. По количеству уголовных дел наш район переплюнул все районы области. У Магунова болезненная страсть заводить уголовные дела.

В начале мая он завалил суд делами о самовольном захвате колхозниками земли. Их набралось около двух десятков. Самовольный захват выражался в том, что при контрольном обмере приусадебных участков было обнаружено, что у этих колхозников они увеличились сверх норм – от двух до трех соток. На суде все колхозники в один голос отрицали свою вину. Суд определил создать авторитетную комиссию по вторичному обмеру их приусадебных участков. И оказалось, что первый обмер был произведен неправильно. В результате по всем делам были вынесены оправдательные приговоры. И Магунов в горячке все их опротестовал. Но все протесты были сняты областным прокурором. Таким образом, Магунов сразу схватил охапку палок и вдобавок еще – строгое предупреждение. И наша дружба размякла и стала скользкой, как глина после дождя. А следующее дело, по которому прокурор получил полное удовлетворение, а я – палочку, сделало нас врагами.

На скамье подсудимых – семнадцатилетняя девушка с милым грустным лицом и яркими, как вечернее солнце, волосами. Свет ее волос, кажется, течет по фигуре чистыми переливчатыми струями. Ее можно было бы назвать прелестной, если бы не большие красные руки, которые она старательно прячет за спину, и недевичьи ноги в грубых кирзовых сапогах. Она преступница: работая почтальоном, присвоила пособие в пятьдесят рублей, которое получала старушка-колхозница за пропавшего без вести на фронте сына. Ей грозит семь лет исправительно-трудовых лагерей.

На соседней скамье сидят: ее мать, вялая безликая женщина, а дальше рядком расселись, как цыплята, братья и сестры подсудимой, такие же ярковолосые, босоногие, беззаботно веселые, словно явились не на суд, а в кукольный театр. На краешке скамейки примостилась обиженная старушка. Она сегодня выступает как свидетель и потерпевшая. Но эта роль ей явно не по душе, да и пришла она сюда по строгому требованию прокурора. Чтобы как-то разжалобить судей, старушка хнычет и трет глаза какой-то черной тряпкой.

Поддерживает обвинение Магунов, защищает – Халтун. А дело, как говорят, проще пареной репы. После судебного следствия, которое устанавливает, что подсудимая на присвоенные деньги купила чулки, стеклянные бусы, губную помаду и крошечный флакончик духов, прокурор кратко и логично излагает социальную сущность преступления, его вред и пагубные последствия, а потом просит суд с учетом смягчающих обстоятельств, как то: глупость и вопиющая бедность подсудимой, определить ей полтора года лишения свободы. Мать мешком валится на пол, протягивает руки и голосит, как на похоронах: «Пощадите ее, гражданин судья! Одна она у нас корми-и-и-лица!» Ее дружным хором поддерживают ребяташки.

Старушка тоже плачет и причитает: «Простите ее. Уж бог с ними, с деньгами-то. Не нужны они мне. Не по своей воле взяла. Нужда заставила. Уж больно они бедные-то. Уж так бедны, и словом не сказать».

Прокурор съезжился, опустил голову и не может оторвать от пола глаз. Халтун спокоен и невозмутим: за свое многолетнее сидение в суде он ко всему привык.

Суд предоставляет подсудимой последнее слово. Она встает, пристально смотрит на прокурора, потом на меня и удивленно протягивает: «Неужто посадите? – и, вздохнув, с легкой грустью добавляет: – А мне ведь все равно. Небось в тюрьме-то хуже не будет».

В комнате тайного совещания на этот раз не было оживленных споров. Чувствовалась какая-то недоговоренность, неловкость, подавленность. Мои любимые заседатели – колхозный казначей Вадим Артемьевич Ухорин – философ, моралист, и районный санинспектор Лидия Михайловна Афонина, черноглазая насмешница и хохотунья, сидят хмурые, стараются не смотреть друг на друга. Ухорин беспрерывно курит злой вонючий самосад. В комнате от него настолько тяжелый и спертый воздух, что подкатывает тошнота. Я распахиваю окно. В комнату врывается вместе с беззаботно веселым свистом скворца весенний ветерок.

– Ну так как же решим, товарищи заседатели? – наконец с трудом подаю я дежурный вопрос.

Ухорин, швырнув в окно окурок, спрашивает:

– А что, разве требование прокурора для нас обязательно?

Я поясняю, что прокурор от нас вообще ничего требовать не может. Суд ни от кого и не зависим и подчиняется только закону.

– Тогда надо оправдать, – решительно заявляет Вадим Артемьевич.

– Нельзя, преступление доказано. Закон нарушен.

И вдруг резко, крикливо заговорила Лидия Михайловна:

– Закон – не столб... И вообще. Если бы я знала, что такое дело, то ни за что бы не пришла. Если вы ее думаете посадить, то сажайте, но приговора я ни за что не подпишу.

Лицо ее покрылось красными пятнами, а на глазах – слезы. Я понял, что она свою угрозу наверняка выполнит. Я сел и быстро написал приговор с условным осуждением. Заседатели с радостью его подмахнули.

Магунов в тот же день затребовал дело и подшил к нему протест на мягкость наказания. Протест его был удовлетворен: областной суд приговор отменил, мне поставили палочку, а дело переслали на новое рассмотрение, но уже в другой суд.

Через две недели прокурор по телефону мне радостно сообщил:

– Слыхал, Бузыкин, почтальону-то твоему размотали всю катушку. А виноват в этом только ты. Я тогда просил полтора года. А ты не послушался. Жаль девчонку, очень жаль, семь лет получила, бедная.

Он еще что-то стал говорить о согласованности, о контакте в работе, но я не дослушал и повесил трубку.

После этого я стал задумываться над жизнью, и мне стало невыносимо тяжело. Ведь кому не известно, что жизнь только тогда и хороша или, на худой конец, сносна, когда о ней не думаешь.

С прокурором теперь не разговариваю, а если это и приходится делать, то только на официальном языке. Пакостим друг другу на каждом шагу. Но все это не выходит из рамок официальности и закона. А работать трудно, ох как трудно!

Заседатели и заместители

Заседатели наделены всеми правами судьи, но пользуются ими с большой неохотой и почти не несут никакой ответственности. Во всем и всегда виноват судья, даже если он никакого отношения к делу не имеет.

Всего у меня по району шестьдесят заседателей. И только на десяток из них можно рассчитывать как на судей. Остальные в полном смысле слова – заседатели. Они заседают, да и только. В суде сидят строгие, с вытянутыми лицами, словно перед фотографом. Так они способны просидеть пять часов подряд, не моргнув глазом и не сказав ни одного слова.

Разобрав дело и удалившись в комнату тайного совещания, спрашиваю:

– Ваше мнение, товарищи судьи?

Они молчат, улыбаются, словно бы мой вопрос никакого отношения к ним не имеет. Начинаешь им разъяснять, что они – такие же судьи, как и я, и их голос равноценен голосу председательствующего. Они внимательно слушают, поддакивают, согласно кивают головами. Убедившись, что наконец-то они поняли свои права, опять задаю тот же вопрос. Они переглядываются, пожимают плечами и заявляют в один голос:

– Как вы рассудите, гражданин судья, так пусть и будет. Только не очень уж строго.

Эта тупая покорность поначалу меня возмущала и корбила, но вскоре я к ней привык. Сочиняю приговор, и заседатели, не читая, охотно подписываются под ним.

Такова основная масса заседателей. Но среди них попадаются строптивые, которые идут не только против закона, но и здравого смысла. Был случай, когда заседатели настояли на своем и заставили подписать явно несправедливый приговор. Я долго подозревал их в подкупе, но, как выяснилось, – это были люди с характером идти всему наперекор. Я больше их не привлекал к слушанию дел. Но вот однажды мне все-таки пришлось вспомнить о них.

Под суд попал председатель колхоза «Труд Ленина» Илья Антонович Голова. Нас с ним сблизил и спаял охотничья страсть. А познакомил меня с Головой председатель райисполкома Сергей Яковлевич Шилов.

В первый год работы я старался не за страх, а за совесть: до полуночи засиживался за изучением судебных дел. Как-то вечером раздается телефонный звонок. Узнаю голос Сергея Яковлевича.

– Судья, ты охотник? – спрашивает он и просит срочно зайти к нему в райсовет.

Прихожу и вижу: сидит у него курчавый, с выпученными озорными глазами мужик. Сергей Яковлевич кивает на него и улыбается.

– Знакомся. Сам Голова – знаменитый председатель колхоза «Труд Ленина».

Мы познакомились. «Ну и что дальше? – думаю я. – К чему это знакомство?»

Шилов, посмеиваясь, посматривает то на меня, то на Голову.

– Ну что, Илья Антонович, возьмем парня?

– Куда? – удивленно спрашиваю я.

– За глухарем, – отвечает Шилов таким тоном, словно бы речь шла о каком-то пустяке. И, не дав мне ни опомниться, ни возразить, что я не только не охотник, но даже и ружья в руках ни разу не держал, Сергей Яковлевич приказывает, чтоб я через час был готов.

На исполкомовском «газике», по сквернейшей дороге, в такую глухую темень, хоть ножом режь, мы выехали в колхоз «Труд Ленина». Всю дорогу Шилов с Головой хвастались друг перед другом своими охотничьими удачами. Я же с ужасом думал о походе по болоту за глухарем. На мне было легкое осеннее пальтишко и ботиночки с калошами. Но мои опасения были преждевременны. У Головы нашлось все: и резиновые сапоги-заколенники, и куртка, и ружье. Илья Антонович отдал мне все лучшее. Когда я опоясался тяжелым патрон-

ташем, сбоку подвесил новенький ягдташ и закинул за спину двухстволку, Сергей Яковлевич насмешливо посмотрел на меня и сказал:

– Тартарен из Тараскона.

Я, разумеется, никого не убил. Шилов с Головой стукнули по великолепному глухарю. Я им не завидовал, не раскаивался, да и сейчас не раскаиваюсь в этой поездке. Я видел, я слышал весеннее утро в лесу. Раньше я только читал о нем в книжках. Но какое может быть сравнение!

Когда мы возвращались с Сергеем Яковлевичем в Узор, он спросил:

– Ну и как?

Я глубоко вздохнул и закрыл глаза от удовольствия.

– Чудесно!

– Да... Ты прав. Чудесно! Лучше и не скажешь.

Охотничий зуд не давал мне покоя. Я не утерпел, позвонил в колхоз Голове, договорился с ним на неделе провести зорьку в лесу. Он с радостью согласился, и я принес Васюте тяжелого глухаря. Васюта взвесила его на безмене. Глухарь без малого весил пятнадцать фунтов. После этого я зачастил к Илье Антоновичу. Потом обзавелся собственным ружьем. С Головой я ходил и на зайцев, ходил и на кабана, и даже раз мы с ним завалили семнадцатипудового лося.

Голову знает весь район. Да еще бы не знать. В войну он командовал партизанским отрядом. «Отчаянный мужик», – говорят о нем. У Ильи Антоновича два ордена Отечественной войны, орден Красного Знамени и куча медалей. Характер у Ильи Антоновича горячий, резкий. Однако душа в нем добрая и даже возвышенная. В общем, это ярко выраженная натура вольнолюбца. Работая председателем, встречая на каждом шагу несправедливость, насилие над своей волей, Голова ожесточился и из доброго, хотя и взбалмошного человека превратился в отчаянного гордеца, забияку, способного на самую безрассудную выходку. Но при всем этом он не утратил своих добрых чувств: ему совершенно чужды месть и злоба. Видимо, поэтому он завоевал любовь среди простого народа и снисхождение у начальства.

Голова горяч, но отходчив. Был случай, что он чуть не пристрелил меня на охоте. По неопытности я подбил глухарку. У Ильи Антоновича от гнева совсем вывалились из орбит глаза, он схватился за ружье и так заорал, что перепугал всех птиц в лесу. А через пять минут сам же успокаивал меня, чтоб я не очень-то переживал, потому что со всяким бывает, и привел мне пример, как он сам из озорства пулянул по дятлу. «Так батя, – рассказывал он, – взял этого дятла и ну мне по морде. И до тех пор хлестал, пока всего дятла не измочалил. С тех пор я понапрасну ни по одной птахе не стрелял. А стреляю я во как, смотри...» Он мгновенно вскинул ружье и хлопнул на лету сойку.

– Видал-миндал, как надо стрелять?!

Голова подобрал сойку и отрезал у нее лапы, сунул их в карман.

– Зачем они тебе? – спросил я.

– Для лицензии. Настреляю сто пар, сдам в охотничье общество и получу лицензию на отстрел лося.

Работу председателя Голова не любит и не дорожит ею. У него в жизни три страсти. Наипервейшая – охота. Вторая страсть – предаваться воспоминаниям по былым, незабвенным делам партизанским. Если ему попадал в лапы слушатель (а мне таки приходилось не раз), он всю ночь напролет рассказывал ему о вероятных и невероятных подвигах своего отряда. Когда слушателей нет, он вспоминает сам для себя. На него тяжелым грузом наваливается томительная и сумбурная бессонница. Перед широко открытыми, выпуклыми, как лупы, глазами кинолентой бегут ожесточенные бои, дерзкие налеты на железнодорожные станции, походы, переправы, рукопашные схватки и прочие жутко интересные штуки. Он то смеется, то скрежещет зубами и, вскакивая, ругается и проклиная себя. «У, черт, дурак,

баранья голова, как глупо я упустил тогда этот эшелон с танками. Если б я его свалил – наверняка был бы Героем». Его разгоряченный мозг дорисовывает картины боев и придумывает новые. Это привело к тому, что теперь Илья Антонович и сам не может разобраться, где в его рассказах правда, а где вымысел.

Есть еще одна страсть, которой он страшно стыдится, хотя в этой страсти ничего позорного нет. Илья Антонович очень любит макароны. Когда они случайно появляются у нас в поселке, Голова все бросает и мчится в Узор за макаронами. В деревнях спать ложатся ранним вечером. И если в глухую ночь в Березовке у председателя горит свет, а из трубы валит дым, все знают, что Илья Антонович жарит макароны.

Как председатель Голова очень посредственный, а как хозяйственник и гроша ломаного не стоит. Райком его терпит, поскольку Голова – фигура знаменитая и поскольку есть председатели и еще хуже Ильи Антоновича.

У него дом, огород, корова, овцы и другая живность. Но все это – дело рук и ума его супруги. Самого же его ничто не интересует, кроме охоты. Случись, умри супруга, он все на второй день распродаст, похерит и уйдет куда глаза глядят.

Колхозом он командует, как командовал когда-то партизанским отрядом: дерзко и решительно. А по существу, руководит колхозом, да и самим Ильей Антоновичем его зять – счетовод Иван Тимофеевич Лобанов, человек очень хитрый и толковый. А председатель в его руках – просто погоняло. Встает Голова раньше всех в колхозе, с петухами. Ружье – за спину, на лошадь – и в лес. К началу трудового дня возвращается прямо в правление. Там счетовод ему вручает листок бумаги, на котором расписано, что сегодня делать и кому что делать. Получив наряд, Илья Антонович опять садится на лошадь и, огрев ее плетью, направляется на левый край села. Отсюда он начинает свой деловой объезд. Подскакав к дому, не слезая с лошади, стучит по раме плеткой и кричит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.